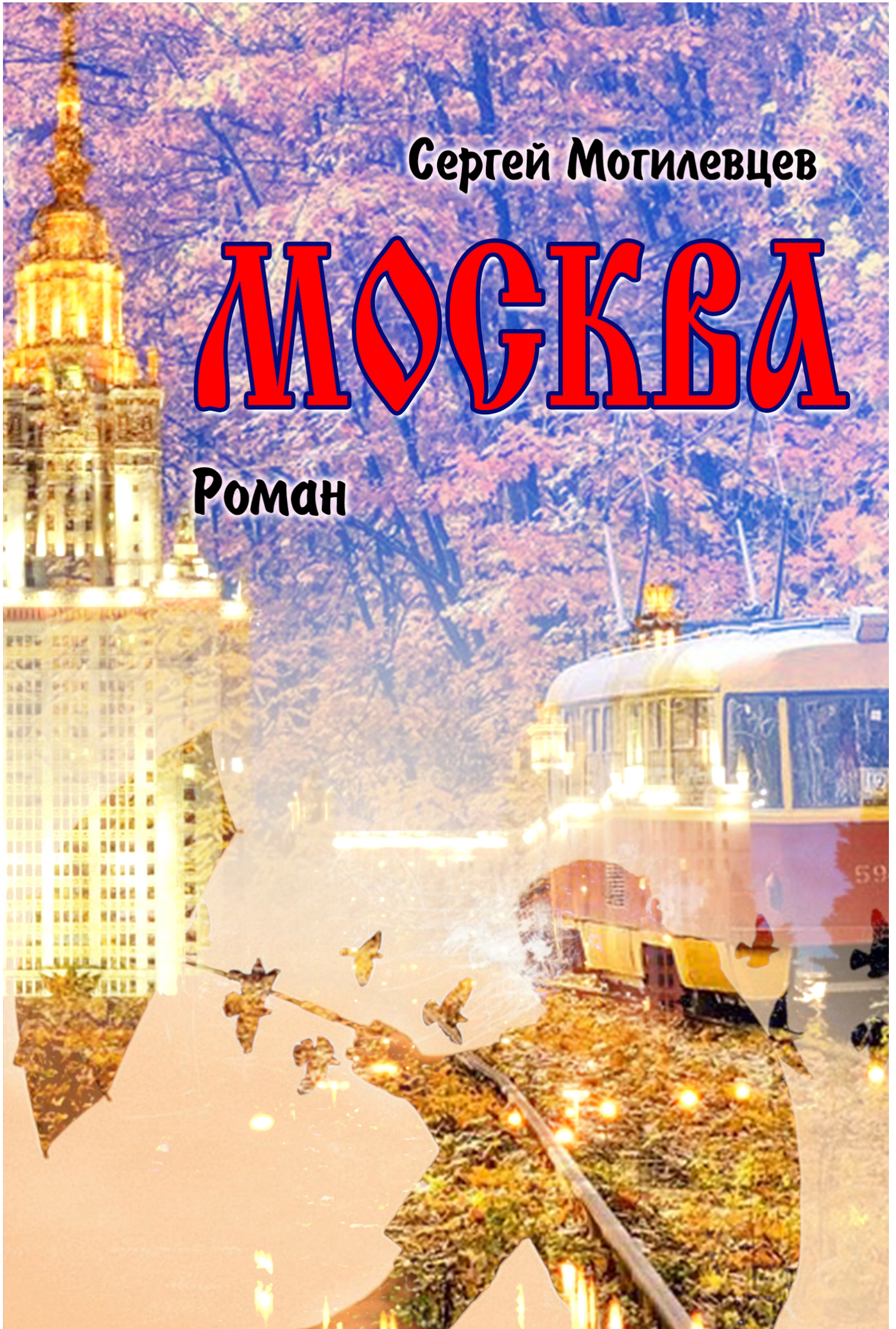


Сергей Мотилевцев

МОСКВА

Роман



Сергей Могилевцев

Москва

«Accent Graphics communications»

2018

Могилевцев С.

Москва / С. Могилевцев — «Accent Graphics communications»,
2018

ISBN 978-1-77192-410-8

Действие романа «Москва» происходит в доме на Беговой, где в одной из квартир живет профессор философии Григорий Валерьянович Диогенов. Коллеги считают Григория Валерьяновича не вполне нормальным, поскольку у того есть странное хобби – он собирает на улицах пуговицы. Но в этом, по большому счету, нет ничего странного – мало ли у кого какое хобби, и кто что собирает? Дело, однако, в том, что в обширной коллекции профессора МГУ есть пуговица, принадлежащая покойному императору Николаю Второму. Причем, по легенде, оторвалась она в тот момент, когда императора вместе со всей семьей расстреляли в подвале печально знаменитого Ипатьевского дома. Вот вокруг этой злополучной пуговицы и вертится все в романе! Ее всеми правдами и неправдами пытается заполучить некая особа, женщина поразительной красоты, работающая депутатом Государственной Думы. Особе этой было видение, что, заполучи она пуговицу покойного императора, ей удастся его воскресить, а со временем стать и его законной императрицей...

ISBN 978-1-77192-410-8

© Могилевцев С., 2018

© Accent Graphics
communications, 2018

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	6
Глава третья	8
Глава четвертая	11
Глава пятая	14
Глава шестая	18
Глава седьмая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Могилевцев

Москва

*Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось...*

А. С. Пушкин

Глава первая

Мир как воля и представление представлялся Григорию Валерьяновичу Диогену слишком сложным и слишком заумным по сравнению с миром Платона, который так наглядно демонстрировался известной пещерой. Ну, той самой, которая зовется *пещерой Платона*, и про которую не слышал разве что последний дурак. Студенты Григория Валерьяновича о пещере Платона, разумеется, слышали, ибо Григорий Валерьянович был профессором философии, заведовал кафедрой на философском факультете МГУ, и строго следил, чтобы его студенты знали про все, что знает он сам. Ну, или почти что про все. Ибо про все, что знает профессор философии МГУ, знать, разумеется, невозможно. Было Григорию Валерьяновичу пятьдесят три года, и он бы уже давно был не меньше, чем членом – корреспондентом, если бы не одно странное и досадное для многих занятие – он собирал на улицах пуговицы.

Да, да, вы не ошиблись, именно этому занятию, наряду с преподаванием философии, посвящал Григорий Валерьянович все свое свободное время. То есть отдавал всего себя на работе, втолковывая студентам, что «вещь в себе» Канта – это основа всей современной физики, хотя сами физики об этом, разумеется, ни ухом, ни сном, не кумекают. Ну, или почти что все физики, поскольку среди последних встречаются весьма начитанные, в том числе и в философских науках. И если уж касался он имени Канта, то не преминул несколько лекций специально посвятить проблеме пространства и времени в философии упоминаемого философа. *Которые есть ни много, ни мало, как всего лишь формы нашего восприятия мира.* Что опять же мало кому из современных физиков известно и понятно. Ну, или почти что всем современным физикам, поскольку среди последних, как уже говорилось выше, встречаются всякие. Встречаются и те, что знакомы и с философией Канта, и с его объяснением того, что есть для нас пространство и время.

Так вещал с кафедры Григорий Валерьянович Диогенов на своем родном факультете, и с этой стороны у него все было нормально. Так что хоть сейчас бери, и давай ему члена – корреспондента, тем более, что он давно уже это звание заслужил. В кулуарах университета так и говорили между собой, что такой знаток Канта и Шопенгауэра, как Диогенов, давно заслужил эту награду. Но в дело как раз нехотели вмешивался один очень досадный фактор – все знали, что Григорий Валерьянович собирает на улицах пуговицы. И всегда при этом крутили пальцем в районе виска. И шептались о том, что это *не иначе, как пунктик*, и что не будь этого пунктика, Григорий Валерьянович уже давно бы получил члена – корреспондента. А с таким пунктиком у нас на Руси получить ничего невозможно, разве что прозвище блаженного, или полного идиота. Что, по мнению многих, одно и то же. Ну да в университете работали интеллигентные люди, и вслух, а тем более в глаза виновнику торжества об этом не говорили. И даже то, что носил он фамилию Диогенов, тоже никого не смущало. Хоть и было в ней нечто двусмысленное. Тем более для философа, и тем более такого известного, как Григорий Валерьянович Диогенов. Ну и черт с ним, с Диогеновым, ибо какие только фамилии не встретишь у нас на Руси!

Глава вторая

*«Дзинь! Дзинь!» – остановливался трамвай за окном, и уходил дальше на повороте.
«Дзинь! Дзинь!» – остановливался трамвай за окном, и уходил дальше по Беговой.*

На самом деле все это Григорию Валерьяновичу только казалось, все это было лишь ложной памятью, поскольку трамвай на Беговой уже давно не ходил. Уже более десяти лет, как убрали отсюда двадцать третий маршрут, а потом и рельсы трамвайные отсюда убрали. Выходили жители окрестных домов протестовать против этого, писали на своих плакатах, что двадцать третий трамвай ходил здесь больше века, и был вообще вторым трамваем в России, не считая того, что первым пошел в Киеве. Ну да разве тронут кого в Москве протесты жителей окрестных домов? Москва ведь, как известно, ни слезам, ни протестам не верит. Убрали с Беговой двадцать третий трамвай, а потом и рельсы от трамвая отсюда убрали, но память о нем у жителей оставалась еще надолго. Вот и Григорий Валерьянович, взрослый, казалось бы, и образованный человек, а до сих пор не хотел верить, что осиротели они все, и нет больше внизу родного трамвая. Ну да у Григория Валерьяновича, как мы говорили, были в жизни и другие крайности...

Григорий Валерьянович жил на Беговой в сталинском доме в стиле ампира с балкончиками и эркерами, а также с мраморными каминами в комнатах, которые ему безумно нравились. Нравились потому, что... Ну, одним словом, нравились и все тут... Квартира его на четвертом этаже выходила окнами на ипподром, так что четверка летящих в небе коней над входом в этот храм скачек находилась как раз на уровне глаз Григория Валерьяновича.

«Лучше бы, – думал Григорий Валерьянович, – если бы летела в небе шестерка крылатых коней, ну да ведь и над Большим театром все та же квадрига летит. Квадрига, управляемая божественным Аполлоном». Был Григорий Валерьянович большим знатоком и почитателем далекой античности, и понимал, что с божественным Аполлоном бороться бессмысленно. Раз у Аполлона квадрига, то пусть будет квадрига и над ипподромом. Хотя это и *явный знак*, причем знак именно философский, причем специально для него, и невидимый непосвященным.

Что это за знак, и почему именно для него, Григорий Валерьянович не хотел объяснять, да и некому было объяснять ему. Разве что жене, Элеоноре Максимовне, но ей уже давно перестал он объяснять что-либо. Скорее она ему объясняла особенности поэтики Достоевского. Была Элеонора Максимовна специалистом по Достоевскому, и работала в заведении, изучающем жизнь и творчество русских писателей. А также писателей мировых, ну да Достоевский как раз и был мировым писателем. Защитила она диссертацию по Федору Михайловичу, но, как ни пыталась втолковать мужу, что поэтика есть и в творчестве прозаиков, тот этого так до конца понять и не мог.

«Поэтика в поэте – это я понимаю, – возражал он ей во время горячих споров, в первые годы их супружества. – Поэтика в Пушкине, или в Лермонтове, – это я понимаю, поскольку они поэты, но откуда поэтика в Достоевском, ведь он не поэт, а прозаик? Да и мрачен он очень, это скорее философ зла, вроде Шопенгауэра, или Ницше, но никак недобра. Нет в нем никакой поэтики, разве что поэтика последних и мрачных глубин!»

«Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!» – пыталась цитировать ему Элеонора Максимовна. Но не понимал ее Григорий Валерьянович Диогенов, стоял на своем, утверждая, что поэтика есть у поэтов, а у прозаиков есть нечто иное, особенно у таких мрачных, как Достоевский. Впрочем, что с него взять? Философ, он философ и есть!

Так и спорили они все первые годы брака, и не только о поэтике Достоевского, но и вообще обо всем. А потом спорить перестали, уединившись каждый в своей комнате в доме на Беговой. В квартире, выходящей окнами на ипподром, и на летящую в небе четверку коней.

Григорий Валерьянович в угловой большой комнате, супруга его в квадратной средней, а сын их Костя – в следующей, маленькой. Костя был неродным сыном философа Диогенова, ибо, выйдя за него замуж, Элеонора Максимовна имела уже ребенка, прижитого неизвестно от кого. Возможно, что от знатока поэтики Достоевского, как иногда думал ее новый муж. Думал, но вслух ей об этом не говорил. Ребенком этим как раз и был Костя. Двадцать восемь лет исполнилось ему в прошлом месяце...

«Дзинь! Дзинь!» – дребезжал трамвай за окном. «Дзинь! Дзинь!» – говорили его колеса, ударявшие в железные рельсы.

От этого трамвая и от его остановки снизу вверх на сталинский дом летела непрерывная черная копоть, и окна в квартире от этого приходилось постоянно протирать мокрой тряпкой. Делать это приходилось одному Григорию Валерьяновичу, поскольку Элеоноре Максимовне было недосуг заниматься хозяйственными делами. Слишком глубоко изучала она творчество Достоевского. Одно время, в первые годы супружества, пытались они держать в доме прислугу, но потом, разойдясь сначала во взглядах на жизнь, а потом, разойдясь по комнатам, перестали нанимать бедных девушек. Костя и подавно не протирал мокрой тряпкой запачканные трамваем стекла в квартире. Недосуг было ему, да и видел он хорошо, что не было внизу никакого трамвая, и чистые были стекла в квартире. Уединился он у себя в комнате, и выходил оттуда гулять только ночью. Гулял он обычно на другой стороне улицы возле ипподрома с их домашней собакой Верой. Вера была сеттером желтовато – коричневой масти, давно уже переставшая мечтать о щенках, ибо Элеонора Максимовна однажды постановила, что щенков ей иметь не положено. Отчего она так постановила, сказать сложно. То ли сама она втайне мечтала о новом ребенке, которого с Григорием Валерьяновичем завести не успела. То ли просто ревновала поженски к желто – коричневой суке, как вообще ревнует одна сука к другой. Одним словом, за неимением щенков, да и кобелей тоже, к которым с годами стала Вера равнодушна, и когда те пытались оказывать ей знаки внимания, больно кусала их за уши и за ноги, – был у Веры теперь один друг – Костя. А у Кости была одна подруга – Вера. Так, по крайней мере, казалось его родителям...

В свои двадцать восемь лет Костя уже успел окончить мехмат МГУ, и немного прочитаться в аспирантуре. От одного щедрого зарубежного спонсора получил он грант, поскольку подавал в науке большие надежды. На этот грант начал он писать гениальную, как казалось всем, книгу, да так на этом все и заглохло. Ни книги своей он не закончил, ни аспирантуры, уединился в небольшой угловой комнате, и выходил из нее лишь по ночам. В основном на кухню, чтобы что-нибудь съесть, да на улицу, чтобы возле ипподрома немного погулять с Верой и подышать свежим воздухом. Григорий Валерьянович не заходил к нему в комнату из деликатности. А Элеонора Максимовна из страха, что окончательно лишится сына. Одна Вера к нему заходила, поскольку жалела его, и даже думала иногда, что это один из ее не рожденных щенков. *Так и жили они в квартире, летящей по воздуху на высоте четвертого этажа в соседстве с летящей рядом четверкой коней. Трое в лодке, не считая собаки. А если считать с собакой, то четверо.*

Глава третья

Белая, круглая, большая, оторванная от пальто, или дубленки. Именно такие особенно заметны на грязном черном снегу.

Черный снег, белый снег.

Белый, в начале зимы, на нем хорошо видны темные пуговицы.

Черный, затоптанный, какой обычно бывает на Беговой в самом конце зимы. На нем темную пуговицу не отыщешь. Хоть все глаза прогляди, а не отыщешь, и все тут.

Зато лето – отрадная пора для грибника, как сам себя называл Григорий Валерьянович Диогенов. Многие по грибы ездят за город, а он собирает их прямо на улицах. Только грибы эти не обычные, а особенные, и называются пуговицами...

Григорий Валерьянович даже загадку загадывал коллегам в университете: можно ли в Москве на улицах отыскать грибы разных пород? И те, заранее зная ответ, говорили притворно, что нет, нельзя этого сделать. А Григорий Валерьянович тут же садился на своего фирменного конька, и, воодушевившись, начинал доказывать, что можно. И не просто можно, но нужно, если считать грибами оторванные от одежды пуговицы. Об этой его страсти к собиранию пуговиц и о его манере постоянно загадывать одну и ту же загадку коллеги в университете давно знали, и специально подыгрывали философу Диогену. А почему бы и не подыграть, философ-то он был отменный! Несмотря на то, что сумасшедший. Но мало ли было в истории сумасшедших философов? Вот Ницше, к примеру, разве не сумасшедший философ? А Диоген, прости Господи за фамилию, живший в бочке, и днем с огнем искавший потерянного человека? Да вообще по большому счету нельзя создать в философии ничего выдающегося, если не быть сумасшедшим. Ну, хотя бы немного, ну, хотя бы самую малость. Или даже не малость, а просто на всю катушку быть сумасшедшим. Коллеги Григория Валерьяновича об этом хорошо знали, ибо и сами отчасти были не вполне нормальными гражданами. А кто, скажите, живя в этом городе, может оставаться нормальным?.. В этом городе и в этом климате. *Здесь все по-своему сумасшедшие. Городские сумасшедшие, поскольку живут в городе.* В этом городе и в этом климате. *Здесь все по-своему сумасшедшие, городские сумасшедшие, поскольку живут в городе.* Подумаешь: невидаль какая – собирает человек пуговицы в свободное время! Ну и пусть себе собирает! Ведь не убивает же никого, как другие. Или не закрывается в комнате, и не одевается в женское платье, а потом танцует в обнимку с подушкой перед старинным зеркалом, оставшимся от умершей три года назад бабушки. К слову сказать, коллеги Григория Валерьяновича или сами вытворяли такое, или подозревали в подобном своих же друзей – философов. Поэтому со стороны коллег осуждение за собирание пуговиц Григорию Валерьяновичу не грозило.

Студенты тоже знали об этом бзыке профессора и ловко пользовались этим, особенно во время экзаменов и зачетов. Особенно те, что не выучили еще, чем философия Канта отличается от философии Шопенгауэра. Или, того хуже, от философии Платона, автора аллегии о знаменитой пещере, в которой мы все сидим, хотя и не подозреваем об этом. Многие запутавшиеся в философских лабиринтах студенты начинали как бы невзначай вертеть в руках заранее припасенную пуговицу, и отвлекали таким манером внимание Григория Валерьяновича. Он тут же забывал, зачем пришел на экзамен, и, завороченный блестящей игрушкой в руках пройдохи – студента, начинал разговор о грибах, которые, оказывается, можно собирать на московских улицах, то есть о пуговицах. А в конце рассуждений, которые иногда длились достаточно долго, вообще ставил пройдохе зачет, или хорошую оценку по философии. Да еще и благодарил его за подаренную редкую пуговицу.

Впрочем, редкой пуговицей Григория Валерьяновича удивить было трудно, и студентам, желающим получить зачет по философии, приходилось разыскивать такие пуговицы, где

только возможно. И в сундуках своих прабабушек искали студенты пуговицы для Григория Валерьяновича, и срезали их незаметно с платьев и кофточек знакомых девушек, чем приводили одних в состояние дикого ужаса, а других – полнейшего и абсолютного восторга, граничащего с эйфорией и даже катарсисом. А бывало, что и оргазм испытывали знакомые девушки, и даже некоторые из них впервые в жизни. Так что и со стороны студентов не встречало легкое городское помешательство профессора Диогенова никакого сопротивления. Более того, студенты это помешательство своего профессора только приветствовали, и тщательно культивировали его в нем.

Сложнее обстояло дело с Элеонорой Максимовной, то есть с женой Григория Валерьяновича. Поначалу, узнав о таком странном хобби мужа, Элеонора Максимовна не обратила на него большого внимания. Ну, собирает человек пуговицы на улицах, так и что из этого? А где их, простите, собирать? В галантерейных магазинах, что ли, воровать с витрины? И почему одним можно собирать марки, другим монеты, третьим спичечные этикетки, а четвертым, простите меня, старые и заржавелые дверные замки? Каждый, как говорится, по-своему с ума сходит. Хорошо, что не пьет, и зарплату свою нищенскую из университета домой до копейки приносит. Первый муж Элеоноры Максимовны пил горькую, и зарплату в дом не приносил. Поэтому она за этим строго следила.

Постепенно, однако, более внимательно изучив быт и характер своего второго мужа, Элеонора Максимовна сообразила, что здесь что-то не так. Что можно собирать марки и спичечные этикетки, и в этом нет ничего странного. Что можно даже разводить аквариумных рыбок и посвящать все свободное время реставрации старых замков, выискивая их по чердакам и подвалам старых заброшенных домов. Но нельзя собирать на улицах потерянные людьми пуговицы. Потому что... *Одним словом, потому что это ненормально, и больше так никто не делает.* Или почти никто. Или... Короче, совсем запутавшись в размышлениях на тему, является ли ее второй муж нормальным, обратилась Элеонора Максимовна к психиатру. Но и психиатр не сказал ей ничего вразумительного. Кроме крайне пространных рассуждений о том, что жизнь в городской среде, и тем более в такой городской среде, как Москва, формирует особый склад людей, которых нет в других регионах страны.

«Это ведь не просто город, дрожайшая Элеонора Максимовна, – говорил он ей, – а мегаполис, вмещающий и всасывающий в себя все самое лучшее, а также, к сожалению, и худшее, со всей огромной страны. Здесь все в каком-то смысле больны, в том числе и я, и вы, и ваши соседи. С точки зрения психиатрии здесь нет абсолютно здорового человека. Разумеется, собирание на улицах пуговиц, под взглядами, очень часто подозрительными и ехидными, не есть вполне нормальное поведение. Это, разумеется, отклонение от общепринятой нормы, и отклонение довольно существенное.

Но, с другой стороны, бывают фобии гораздо более неприятные. Один мой пациент, к примеру, коллекционировал отрезанные пальцы, причем обязательно женские, и обязательно левой руки. Представляете, каково было его близким и членам семьи выносить эту непреодолимую и необъяснимую страсть? Так что коллекционирование пуговиц и собирание их на улицах города вполне укладывается в концепцию о неизбежных психических отклонениях всех без исключения жителей огромного мегаполиса. Кстати, а сколько пуговиц в его коллекции?»

«Тысячи, – прошептала пересохшими губами бедная женщина. – Тысячи и тысячи. Ими забиты все шкафы в коридоре и в его комнате, а также все шляпные коробки и ящики в нашей кладовке. Он специально просит на улице у торговцев пустые ящики из-под бананов, и не успокаивается, пока полностью не наполнит их пуговицами. А потом начинает все сначала, и так из дня в день, с утра и до вечера Кроме, разумеется, походов в университет!»

«Неужели в Москве так много потерянных пуговиц?»

«Чрезвычайно много, – со страхом выдохнула Элеонора Максимовна. – Здесь постоянно приходится менять одежду, одевая на себя то зимнее, то летнее, то весеннее, и каждый человек

хотя бы два – три раза в год теряет на улице пуговицы. Представляете, сколько их накапливается в Москве?! Это не город, а какой-то пуговичный магазин, никогда бы не подумала, что такое возможно, если бы не столкнулась с этим!»

«Надо же, – искренне удивился психиатр, – миллионы людей и миллионы потерянных пуговиц, которые можно коллекционировать, собирая их под ногами прохожих. Надо будет обязательно написать на эту тему статью для «Вопросов психиатрии».

Одним словом, ничего не дал визит к психиатру Элеоноре Максимовне, Вынесла она из этого визита одно, а именно, что муж ее неизлечим, и с этим надо или смириться, или во второй раз разводиться. Но на второй развод сил у нее уже не было. Да и Достоевским была загружена она по самое горло. Однако и ребенка заводить от человека, собирающего на улицах пуговицы, она тоже не захотела. А потом уже и годы не позволили ей сделать это. Как-то незаметно исполнилось Элеоноре Максимовне сначала сорок, а потом и сорок пять лет, и все с годами стало намного проще. Постепенно она успокоилась, и даже устраивала дома вечера, играя на пианино для коллег Григория Валерьяновича, таких же, как он, ненормальных профессоров и доцентов московского университета. Играя, а также исполняя городские романсы, в основном на слова Окуджавы. У Элеоноры Максимовны был довольно приятный голос. А когда мужа не было дома, выкидывала на помойку, расположенную на заднем дворе, хранившиеся в ящиках и шляпных коробках собранные на улицах пуговицы. Но пуговиц в доме было так много, что Григорий Валерьянович этого не замечал.

Глава четвертая

Мистика Москвы не давала покоя Григорию Валерьяновичу. Стоя с портфелем в руках в ожидании автобуса рядом с метро «Университет», он думал о мистике московского метро.

Странно, сидя в метро, он думал о мистике Москвы верхней, находящейся на земле, а поднявшись наверх, начинал опять размышлять о мистике московского метро.

Он вообще был мистиком, а что касается размышлений, то это была его каждодневная работа. Философом был Григорий Валерьянович Диогенов.

Да и пуговицы он собирал оттого, что видел в этом очень большую мистику. Ну да мы к этому еще вернемся впоследствии.

Стоя с портфелем в руках рядом с метро «Университет» в ожидании автобуса, он по привычке поднявшегося из бездны философа размышлял о мистике московских глубин. Истинная сущность Москвы представлялась ему двоякой, в Москве была явная диалектика, здесь, как серой, явственно пахло Гегелем. Диалектика заключалась в том, что без мрачных глубин подземной Москвы не было бы сияющей высоты Москвы верхней, земной. Не было бы сияющих золотом куполов московских церквей и храмов, не было бы шпилей сталинских классических высоток. И, разумеется, не было бы шпиля, вонзавшегося в небо как раз по курсу автобуса, которого в толпе таких же, как он, ученых московских людей, ожидал философ Диогенов. На автомобиле он принципиально не ездил, и принципиально его не покупал. Да и не на что было ему покупать автомобиль.

При свете дня ему явственно мерещились фигуры и лица легендарных Путевого Обходчика и Пропавшего Машиниста. Особенно Пропавший Машинист часто мерещился Григорию Валерьяновичу при свете яркого зимнего дня. То здесь, то там проходил он мимо него по грязному, затоптанному к концу февраля московскому снегу. Так близко проходил он рядом с ним, что отшатывался в сторону Григорий Валерьянович, толкал локтем и портфелем стоящих рядом в толпе профессоров и доцентов, и те невольно думали, что он сумасшедший.

Ну да про него многие думали, что он сумасшедший.

«Вчера на биологическом факультете...»

«Доцент, и никогда не станет профессором!»

«Представьте себе, открытие мировой важности, и сделано всего лишь простым студентом...» «Вжикк, вжикк, хлюпп, в грязь...»

«Не могу сдать зачет, преподаватель за что-то ненавидит меня...»

«Эти профессора с философского явно ненормальные, особенно Диогенов...» «Хлюпп, вжикк, в грязь, в чистые ботинки...»

И хорошо бы мистика подземной Москвы ограничивалась только метро. Подумаешь, зловещий Путевой Обходчик, подумаешь, такой же зловещий Пропавший Машинист! Да кто такие они, обычные герои городских московских легенд. Но ведь есть еще и библиотека Ивана Грозного, привезенная сюда Софьей Палеолог. А, значит, мистика метро – это всего лишь часть мистики городских подземелий, которыми изрыт весь мегаполис. Еще мегаполисом не был, еще была просто крепость, стоящая на Боровицком холме, а уже начали рыть под ней подземелья. И ведь не просто так рыть, а концентрическими кругами, и кольца подземные обязательно соответствуют кольцам, очерченным наверху. Какой бы варвар и злодей не пришел уничтожить Москву, как бы он не издевался и не изголялся над ней, будь то Сталин, или Лужков с Батуриной, а ведь обязательно делают концентрические круги. И ровно в том месте, в каком диктует энергетика и диалектика этих мест.

Да, явно, явно пахнет не только серой, но и Гегелем, не к ночи будь он помянут!

«Эти автобусы ходят так медленно, будто забыли о своем высшем призвании. Хоть бы из уважения к московскому университету ездили быстрее и чаще. А еще лучше, взяли бы, и построили станцию метро прямо внутри главного корпуса!»

«Помилуйте, коллега, а разве вы не знаете, что ко всем высоткам в Москве давным-давно проложены ветки метро? В том числе и к главному корпусу университета. Когда начнут эвакуировать персонал, будут делать это именно по секретной ветке. Но вам это не грозит, вы всего лишь доцент, эвакуировать будут других, начиная с профессоров, и выше!»

«Да куда уж выше, коллега?»

«Не беспокойтесь, всегда найдется, куда выше!»

«А из – за чего эвакуировать – то, из – за войны, что ли?» «А хотя бы из – за войны. Сегодня Украины, или Сирия, а завтра глядишь, и до Москвы доберется!»

«Ну вот, приехали, а насчет и до Москвы доберется, типун вам на язык, коллега! Никогда вам не быть профессором, так всю жизнь сами и просидите в доцентах!»

А ведь есть еще и Второе Метро, про которое Григорий Валерьянович думал, что это некое вневременное пространство, куда уходят тайные поезда с душами и мечтами людей, и где кого только не встретишь. И Софью Палеолог встретишь, с привезенной ею из Царьграда знаменитой библиотекой. И Ивана Четвертого, внимательно читающего эти книги, чьим именем сейчас и называется эта библиотека. И тех крыс, которые в реальных подземельях эти книги давно сожрали, а там, во Втором Метро, невольно стали Учеными Крысами, а попросту библиотекарями, выдающими под расписку эти книги любым желающим.

А вы говорите, – мистики нет! Да она тут повсюду, и под землей, и на солнце, и обе стороны одной большой мистики так тесно связаны, что без диалектики явно не обошлось. Хотя и серой несомненно пахнет.

«Вы зачет будете сдавать по какому предмету?»

«По философии, профессор, я ведь учусь на философском, а не на историческом!»

«Это хорошо, что вы такой саркастический. А скажите, чем мир как воля и представление отличается от мира, где главным является воля к власти?»

«Вы имеете в виду, чем философия Шопенгауэра отличается от философии Ницше?»

«Я имел в виду мир, который описывают обе эти философии. Но если вам угодно, можете говорить и о них, по большому счету это почти что одно и то же. Почти что, но не совсем».

«Профессор, мы до этого на занятиях еще не дошли, мы пока еще остановились только на пещере Платона. А до Ницше и Шопенгауэра доберемся в другом семестре».

«Неужели? А вы из какой группы? Впрочем, это не важно. Скажите, а что это вы так усердно вертите все время в руках?» «Да так, профессор, можно сказать, что ничего. Пуговицу от карнавального костюма, в котором сто лет назад выступала на гуляниях в Масленицу моя не то прабабушка, не то дальняя родственница. Вы видите, какая она перламутровая и большая, они в те времена, особенно для гуляний и карнавалов, вытаскивали пуговицы из перламутра».

«У вас что, была такая знаменитая бабушка?»

«Представьте себя, профессор, была, и к тому же большая проказница, судя по нашим семейным преданиям. Проказница и хохотунья. Мы когда всей семьей собираемся за столом пить чай, обязательно ее вспоминаем. Одна пуговица перламутровая от нее и осталась, а больше ничего, ни фотографии, ни портрета какого-нибудь. Говорят, она и в подвалах ЧК все танцевала и танцевала, сам Дзержинский ходил на эти танцы смотреть. За танцы ее и выпустили оттуда».

«А позвольте-ка подержать в руках эту пуговицу, да не бойтесь, я не съем ее, я к пуговицам хорошо отношусь».

«Да я и не боюсь, профессор, мне эта пуговица совсем ни к чему, я давно хотел отдать ее в хорошие руки».

«Да, пуговица хороша, ничего не скажешь, настоящий перламутр, и работа ручная. А знаете, молодой человек, что пуговицы, как и грибы, можно запросто собирать под ногами? Причем грибы можно собирать только в лесу, а пуговицы везде, даже на улицах больших городов!»

«Не может быть, профессор, это какая-то мистика, мистика большого города, и будет почище, чем философия Шопенгауэра!»

«Вот это да, вы первый из студентов, который мне об этом сказал. Давайте вашу зачетку, можете считать, что и экзамен по философии у вас тоже в кармане»...

И отдал, отдал – таки пройдоха – студент свою перламутровую пуговицу в хорошие руки. А в коллекции Григория Валерьяновича стало на одну пуговицу больше. Не скроем, пуговицу редкую и заслуженную. Но если кто думает, что это был самый ценный экспонат в необъятной коллекции Диогенова, то он сильно ошибается по этому поводу. Были у него в коллекции куда более сильные экспонаты...

Глава пятая

Тут самое время рассказать о нескольких случаях из жизни философа Диогенова, которые проливают свет на его нынешние дела и поступки.

Случай первый – это все о том же, то есть, как начал он собирать свои сакраментальные пуговицы. И как вообще стал мистиком, поскольку именно собирание пуговиц где только можно и создало в его душе мистический и неповторимый настрой. Давно, еще по молодости, когда искал он свои пути в жизни, был он совсем одинок и несчастен. Нельзя сказать, что он был сиротой, его родители были живы, и считались довольно успешными людьми. Но он сознательно разорвал с ними все связи, и шел по жизни своим собственным путем. Без труда поступив в университет на философский факультет, он довольно рано женился, и был вынужден снимать с женой комнату в одном дальнем районе Москвы. Денег семье не хватало, и Диогенов стал подрабатывать где угодно, лишь бы принести лишнюю копейку домой. У них родился ребенок, прелестный мальчик, но прожил он, к сожалению, не долго. Через полгода ребенок умер, а потом от туберкулеза, полученного в сырой комнате, скончалась и его молодая жена. Диогенов совсем ошалел от горя, забросил свой факультет, в котором слыл чуть ли не лучшим студентом, скитался по значным местам Москвы, проводя время в пивных в обществе сомнительных личностей, и считая, что его жизнь логически подошла к концу. Он даже пару раз пробовал прыгнуть вниз с Крымского моста, но сначала его сняла оттуда милиция, постоянно дежурившая неподалеку в засаде, поскольку в это время была необъяснимая эпидемия прыжков с Крымского моста в воду. А второй раз, окончательно решив покончить с собой, и забравшись по цепям на высокую опору моста, увидел он неожиданно сверху, с высоты, на которую поднялся, на мосту небольшую пуговицу. Пуговица блестела нестерпимым блеском на солнце, которого, кстати, в этот день не было, и посылала лучи света прямо в глаза Диогенова, мешая ему увидеть то, что происходит внизу. Только краем глаза видел, или скорее чувствовал, Диогенов парк Горького у себя за спиной, а все остальное закрывала от него некая странная мгла. Можно даже сказать, что ничего, кроме этой пуговицы, он и не видел внизу. Ни зловещей свинцовой воды Москва – реки, равнодушно готовой принять его в свои вечные объятия, ни какого-то особенно мрачного в этот день блекло – серого московского неба. Одна только пуговица, блестящая и горевшая на мосту и бившая ему в глаза своими лучами, овладела теперь всем вниманием несчастного самоубийцы, не давая ему совершить роковой прыжок вниз. Так сильно она мешала ему своим нестерпимым блеском, так больно уязвляла своими жгучими лучами, что Диогенов был вынужден спуститься по цепи вниз, чтобы избавиться от проклятой пуговицы, отшвырнув ее в сторону, а потом вновь забраться на опору моста, и сигануть оттуда в свинцовую воду. Но, спустившись на мост, и взяв пальцами небольшую пуговицу, он невольно закричал от боли, ибо пуговица, внешне обычная и темная, оказалась раскаленной до бела, и жестоко обожгла ему руку. Ожог и боль от него оказались настолько сильными, что Диогенов стал трясти рукой в воздухе, а потом был вынужден вообще замотать ладонь платком, и бежать в ближайший медицинский пункт, где ему и была оказана первая помощь. Он положил машинально раскаленную пуговицу в карман, а когда вечером вспомнил о ней, то она оказалась совершенно нормальной, и даже следа на ней не было от какого-нибудь нагрева. И понял неожиданно Диогенов, что пуговица лежала на мосту не случайно, что она специально была подброшена туда некими силами для того, чтобы спасти ему жизнь. Что это был знак, посланный ему судьбой о том, что жизнь его еще не закончена, что за жизнь надо бороться, даже если ты и считаешь, что потерял в жизни все, ради чего стоит жить. Не сразу, еще с год проскитавшись по значным местам Москвы, и насобирав на улицах сотни лежащих в пыли пуговиц, он все же нашел в себе силы вернуться в университет, восстановившись на родном философском факультете. А собирание на улицах пуговиц вошло у него теперь в при-

вычку, став неким тайным мистическим действием, которое он, по мере возможностей, пытался скрывать от окружающих. Да только и окружающие были наблюдательными людьми, и прекрасно видели ненормальность Диогенова. Ему, однако, было на это плевать, поскольку душу его они не видели, и что творилось в этой душе, знать не могли. А творилось так преобразование и превращение вчерашнего студента и самоубийцы в настоящего философа. Впрочем, недаром ведь говорят, что тот, кто не был студентом и хотя бы один раз не пытался покончить с собой, никогда не станет философом.

И второй случай произошел несколько лет спустя, когда Диогенов уже доцентом московского университета был на экскурсии в Египте, и в Гизе залез на самую верхушку пирамиды Хеопса. Это был настоящий подвиг, ибо из всей группы он единственный поднялся по бесконечным каменным блокам на вершину этого величественного и монументального сооружения. Странное чувство охватило Диогенова в тот миг, когда он обвел глазами весь лежащий у его ног мир. Он вдруг осознал, что это действительно мир, лежащий внизу у его ног, а он не кто-нибудь, а господин этого мира. Более того, он вдруг понял, что смотрит на этот лежащий внизу мир, который был вообще миром всей необъятной земли со всеми живущими на ней народами и племенами, – что он смотрит на этот мир глазами какого-то другого незнакомого ему человека. Более того, человека, живущего на земле уже пять тысяч лет, и видевшего на ней столько, сколько не видел ни один другой смертный.

Только боги, которые живут вечно, видели на земле больше, чем видел на ней Диогенов. И понял он, что смог взглянуть на людей и на землю глазами фараона Хеопса, и что этот взгляд коренным образом отличается от взглядов миллионов и миллионов людей, прошедших там, внизу, свой скорбный путь от рождения и до самой смерти. Это был взгляд мудрого старца, которого превратили в мумию, и положили в золотом саркофаге пять тысячелетий назад, и которым теперь, если захочет, может смотреть на мир Диогенов. Не только на Россию, ибо Россия была всего лишь частью этого мира, а и на весь мир вообще. Со всеми племенами и народами, со всеми языками и столицами, со всеми вещами и событиями, которые вмещал этот мир. В том числе и на Москву, в которой жил Диогенов. И которая была столицей блестящей империи, шедшей своим путем по земле в строю таких же блестящих, и обреченных на движение вперед империй. Что это движение вперед было движением к некоей конкретной точке, в которой и заканчивается вообще история Земли. Что история Земли конечна, и России придется сыграть в ней очень важную роль. И Москве придется сыграть в этом движении к конечной точке общей мировой истории очень важную роль. Что роль Москвы мистична и насквозь пронизана метафизикой, что без Москвы вообще теперь и всегда невозможна ни мировая история, ни движение ее к своей последней и окончательной точке. Что Диогенов получил теперь возможность оценивать события не только своим взглядом доцента философского факультета, но и взглядом завернутого в бесконечные погребальные пелены древнего старца, покоившегося в золотом саркофаге глубоко в толще земли под самым основанием пирамиды Хеопса. Что это не было каким-то особым даром лично ему, Диогенову, хотя и не было обычной случайностью. Что он просто оказался в нужное время в одной из страшных и мистических точек Земли, и ему было дано откровение в силу его личных подвигов и возможностей. Что это откровение можно одновременно считать и даром, и случайной прихотью соскучившегося без общения старца, вот уже пять тысяч лет покоившегося в одиночестве в золотом саркофаге под толщей всей необъятной пирамиды Хеопса. И что свой дар – видеть явления и вещи не так, как видит их человек, а как это видно древнему мумифицированному фараону, Диогенов может использовать везде, где захочет. Ибо дар этот отныне будет с ним до самой смерти, которую, если ему вздумается, он тоже может предвидеть. Но только чтобы он не сошел с ума от этого страшного дара, поскольку вынести его обычному человеку вряд ли возможно. Что лучше будет, если Диогенов сделается хотя бы немного безумным, поскольку только безумному по силу вынести

такой страшный дар. И что уж раз он собирает на улицах пуговицы, то пусть это и будет частью его безумия, и пусть об этом безумии знают все остальные.

Так и стал Диогенов безумным, и не скрывал уже свое безумие от окружающих, и только лишь безумие помогало ему нести с собой свой страшный дар. Дар видеть людей и явления не глазами обычного человека, а глазами уложенного в золотой саркофаг фараона, с усмешкой смотрящего на этот мир вот уже пять тысяч лет, и чего только не насмотревшегося за это время. А также чего только не передумавшего за это время. И еще осознал Диогенов, что не на все надо смотреть глазами древнего золотого старца, что на многие вещи лучше вообще не смотреть, в том числе и на свою собственную смерть, видеть которую человеку не обязательно. Не обязательно потому, что... Ну, одним словом, вы знаете, почему. Вот так и стал Диогенов настоящим философом, глядящим на мир прищуренными глазами золотой древней мумии. Вот так он и стал мистиком, ибо иначе, как мистикой, нельзя было назвать то, что случилось с ним на вершине пирамиды Хеопса. Мистикой, только мистикой, ведь не научным же открытием можно было это назвать! Он очень быстро защитил диссертацию, и стал сначала доцентом, а потом и профессором философского факультета. И даже кафедрой позволили завести философу Диогенову. Однако всем было понятно, что дальше этого он не пойдет, и члена – корреспондента, а тем более академика, никогда не получит. Не получит потому, что... Одним словом, вы знаете, почему. Ибо где это видано, чтобы философ у нас становился академиком, для этого ведь есть ученые других специальностей. Физики, например, или математики. Или, на худой конец, химики, или биологи. Но философ... Упаси Боже нас от этих философов, они ведь все с приветом, и Диогенов среди них вообще не исключение. Кстати, умение смотреть на мир глазами древнего фараона ничего в материальном плане не принесло Диогенову. *Он одной своей стороной лежал в золотом саркофаге, скрытый под толщей невообразимого камня, а другой получал нищенскую зарплату профессора МГУ...*

*Уходят в вечность фараоны,
Как войны, за строем строй,
Их обольстительные троны
Забыты в камере пустой.*

*Их мумии давно истлели,
И кости превратились в прах,
Их золотые менестрели
Давно с печатью на устах.*

*Их вековые пирамиды
Давно засыпаны песком,
И только старые брамиды
Проходят мимо их тайком.*

*Их боевые колесницы
Теперь уже не мчатся в даль,
И царств надменные столицы
Не просят милости, как встарь.*

*Их золотые саркофаги
Лежат в музейной тишине,
И шумные ареопаги
Не шлют приветствия войне.*

*Все их надежды и стремленья
Ушли сквозь пальцы, как вода,
И золотые поколенья
Уже не встанут никогда.*

*Все их безмерное величье
Теперь не нужно никому,
И мумий хладное обличье
Угодно Богу одному.*

*И только Сфинкс глядит сквозь
вечность,
Являя всем свой грозный вид,
Храня надежду и беспечность
На фоне древних пирамид...*

Глава шестая

Меховые шапки, капюшоны, лыжные шапочки, непокрытые головы студентов и московских красавиц, лысины, крашенные волосы, прически странных фасонов...

Григорий Валерьянович возвращался домой на метро, и, как обычно, чтобы не терять зря времени, думал о философской системе, которую ему необходимо создать.

Еще тогда, в знойном Египте, спустившись с пирамиды Хеопса, Диогенов решил, что должен создать собственную философскую систему. Таковую же, как у Платона, Аристотеля, Будды, Гегеля, Шопенгауэра. Или, на худой конец, у Ницше. По некоторому размышлению он вычеркнул Будду из этого списка, ибо уж очень необычен и странен был Будда для европейского человека. А Диогенов справедливо считал себя именно европейским человеком, и не сомневался теперь, что ему по плечу создать европейскую философскую систему. Что сил у него не меньше, чем у Гегеля, или Шопенгауэра, и что он должен втайне ото всех создать европейскую философскую систему с русским уклоном. Но, странное дело, чем больше размышлял философ Диогенов о русской философской системе, тем к более необычным выводам он приходил. Нет, все было правильно, все было логично, и Россия, несомненно, была европейская страна, которая уже давно заслужила свою философскую систему. Ведь несправедливо же было, что туманная Германия имела свою философскую систему, да не одну, а, по крайней мере, три. И Франция имела такую систему, ибо был во Франции философ, который заявил, что он мыслит, и, следовательно, существует. Да куда не ткни пальцем в Европе, везде были свои философы, без труда создававшие свои философские системы, и прославлявшие этим не только себя, но и страны, в которых они жили. А в России вместо философов были сплошь какие-то блаженные. Василий Блаженный. Максим блаженный. И вообще свои собственные блаженные в каждом русском городе, в который только не ткни пальцем на карте. Диогенов даже специально много раз ходил на Красную площадь, и подолгу стоял рядом с храмом Василия Блаженного, с удивлением размышляя, почему этот, несомненно выдающийся ум, всех только лишь обличал, а ничего философского не создал. Или не сказал хотя бы одну фразу, вроде того, что он мыслит, и, следовательно, существует. И на Варварку он много ходил, и даже заходил в храм Максима Блаженного, но тоже ничего путного там не нашел. Не европейское все это было, не германское, не французское, не, прости Господи, английское, и вообще никакое. Какое-то иное было все это, и какая-то иная получалась в итоге страна. *С одной стороны вроде бы и Европа, а с другой и не Европа совсем.* Но тогда что это было такое?

«Может быть, все же буддизм нам подойдет?» – думал растерянно Диогенов, охватывая пытливым взглядом историю философской мысли России.

Но нет, не подходил буддизм для России. Для джунглей Индии подходил, а для русских снегов и черных бесконечных полей не подходил.

«Может быть, все дело в том, что в России не было своих университетов, и Василий Блаженный, и все остальные Божие люди, не смогли получить европейского образования? Может быть, все дело в этом?»

Но нет, не в этом было дело в России, ибо хоть и европейская это была страна, но и одновременно какая-то не европейская, какая-то азиатская, какая-то неухоженная и непричесанная. Не было здесь ни германских, ни французских посыпанных желтым песком аккуратных дорожек, а были одни лишь тянущиеся до горизонта бесконечные раскисшие черные поля, припорошенные пол года лежащим на них белым снегом. Тут уж не до философии с такими бесконечными черными полями, тут уж не до европейских университетов с этими русскими морозами. Тут даже если и учишься в отечественном университете, то не будешь, как Фауст в Германии, выпаривать из ртути золото, и искать философский камень. Тут почему-то студенты,

вместо того, чтобы пойти путем Фауста, все как один задаются двумя проклятыми вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?»

Не золото выпаривают из ртути, не философский камень пытаются отыскать, не Мефистофеля из мрачных глубин вызывают, а пытаются ответить всего лишь на два sacramентальных вопроса.

«Кто виноват?»

«Что делать?»

И больше ничего русских мальчиков с философским уклоном в России не интересует. Всего лишь два sacramентальных вопроса, а дальше вообще ничего. А ведь могли быть русскими Гегелями, Спинозами и Декартами. Даже на худой конец могли быть русскими Ницше. А стали почему-то русскими революционерами.

Вот эти, которые сейчас едут вместе с ним в метро, которые учатся в университетах, и у которых нет ни денег, ни машины. Машины, которая им не нужна. А есть один лишь светлый ум и одно лишь молодое честолюбие. И они не будут создавать свою собственную философскую систему, потому что она в России никому не нужна. А будут сначала искать ответ на два sacramентальных русских вопроса. А когда найдут этот ответ... *Страшно подумать, что тогда они будут делать...*

А ты говоришь, милый мой: философская система, по типу Гегеля, или Спинозы. Да не нужна тут никому такая система. Тут тебе, дружок, не туманная Германия и не солнечная Франция. Тут, милый мой, укрытая снегами Россия.

.....

Шубы, куртки, пальто, дубленки, кожаные плащи, норковые манто, овчинные тулупы, пара пиджаков принципиально презирающих февральские морозы...

Утренний люд в вагоне привычного московского андеграунда...

«Проклятый Египет...»

«Проклятая мумия, лежащая в золотом саркофаге...»

«Впрочем, нам и своих мумий хватает, и саркофаги для них ничуть не хуже заморских египетских...»

Вот так и мучился Диогенов несколько лет после того, как съездил в Египет. Все мечтал создать свою собственную философскую систему, хотя бы плохонькую, но обязательно отечественную, русскую. А в итоге, наконец, понял, что ничего он здесь не создаст. Что лучшее, что он может сделать, это быть русским мистиком, и размышлять о чудесах и о загадочности лежащей вокруг русской земли. Тут ведь куда не бросишь взгляд, везде чудеса и загадочность. И поля загадочные черные до горизонта, пол года покрытые снегом, глядя на который, к концу зимы не хочется уже создавать никакой отечественной философской системы. И обязательно три скорбных березки, стоящие посреди этих черно – белых полей. Как будто три сестры, обнявшись, оплакивают не то троих своих братьев, погибших в страшном сражении, не то троих мужей, ушедших в никуда, и уже назад не вернувшихся...

Вот тебе мистика, вот тебе загадочная душа русской земли!

Здесь уже в окно невозможно просто так посмотреть, без того, чтобы не увидеть в небе четверку летящих в бездне коней. И на театры нельзя посмотреть, чтобы не увидеть ту же квадригу, управляемую златокудрым античным богом. И откуда тут взяться античности посреди черных раскисших полей? И откуда тут античные боги в скованной морозом земле антиподов?

«Нет, нет, тут одна мистика, и ничего, кроме мистики...» «А вот еще, золотые луковницы русских церквей, подозрительно напоминающие воткнутые в небо гордые фаллосы. Золотые фаллосы посреди городов, деревень и местечек. Сорок сороков золотых фаллосов в одной только златоглавой Москве. И тут уж почище будет летящей в небе античной квадриги, управляемой божественным Аполлоном! Что нам надменные античные боги, мы с ними как-нибудь

договоримся! Но откуда в одной только столице сорок сороков воткнутых в небо золотых обнаженных фаллосов? Тут никакого Спинозы и никакого Декарта не хватит, чтобы все это логически объяснить. Да и не нужна тут логика, ибо логикой тут ничего не понять. *Умом Россию не понять, в Россию можно только верить.* Но во что верить, простите меня, в сорок сороков золотых фаллосов?..

.....
Взгляды, взгляды, взгляды, каждый перед собой, и старается другим в глаза не смотреть. Все вместе и каждый бесконечно далек, забравшийся в кокон собственного одиночества. Метро, как место собственного одиночества. Хоть и кажется на первый взгляд, что это переполненный до краев человеческий муравейник...

.....
По долгому размышлению понял, наконец, Диогенов, что для мыслящего человека есть в России всего лишь три пути. Всего лишь три дороги, которые должен выбрать он, если желает остаться честным. То ли перед собой, то ли перед Богом, если он верит в Бога.

Путь первый – это покончить с собой, и тогда уже не надо будет решать никаких философских задач, и отвечать ни на какие проклятые вопросы.

Путь второй – это стать блаженным, или, с точки зрения окружающих, идиотом. То ли таким, как Василий Блаженный, ходящий в сорокоградусные морозы босой, и пугающий своими вопросами молодого Ивана Четвертого. То ли таким, как сам Диогенов, собирающий на улицах потерянные прохожими пуговицы.

И третий путь – ответив, наконец, на два сакраментальных русских вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?», взять в руки бомбу, и швырнуть ее в царственного узурпатора. Или создать собственную партию, и бороться за светлое будущее. То ли своего народа, то ли чужих народов, это уже не имеет значения. Главное, чтобы бороться, и чтобы за светлое будущее. И в итоге, разумеется, погибнуть в этой борьбе, но это уже не имеет никакого значения...

.....
Боже, какие чистые, какие светлые, какие молодые лица вокруг. Лица русских мальчиков, а также девочек, у которых всего лишь три пути в этой жизни.

Как три развилки посреди бесконечного русского поля рядом с большим мшистым камнем, принесенным сюда неизвестно кем. То ли ледником, то ли судьбой, то ли самим чертом...

.....
Ботинки, туфли, кроссовки, лабутены, валенки, сапоги мужские и женские, а иногда и калоши, а иногда, хоть и редко, босые ноги. Бывает и такое в Москве, иногда, но все же бывает.

В Москве всякое можно увидеть, в том числе и босые ноги блаженного. Не то Василия на Красной площади, не то Максима с Варварки, не то подобных им блаженных из Ярославля, Ростова Великого, или Торжка. И, что самое странное, эти босые ноги могли бы принадлежать любому из тех, кто едет сейчас в метро. Просто выпало сейчас ходить босому кому-то другому, а в следующей жизни выпадет тебе, или вот этому мальчику в старых кроссовках, или вот этой девочке в дорогих лабутенах...

*Китай – Городская трава,
Сиянье снега в январе,
Людей текущая орава,
Мороз в подарок детворе.*

*Варварка варварами полна,
Гудит, и движется вразброд,
Подобен набежавшим волнам*

Приезжий и столичный сброд.

*Гостинный Двор все так же вечен,
И так же тверд его гранит,
Стоит, безмолвен и беспечен,
Заветы древности хранит.*

*Максим Блаженный тих и скромн,
И спит у вечности в плену,
А Кремль надменен и огромен,
И воет ночью на Луну.*

*Метро гудит своей машиной,
Пыхтит, накачивая пар,
И выпускает в мир блошинный
Людской насыщенный отвар.*

*Торговля движется рядами.
Товар расставлен вдоль стены:
Лотки с заморскими плодами, –
Презент полуденной страны.*

*А рядом звезды из-за моря,
Кораллы, бусы и часы:
Блестит гороховое горе,
Приют обманчивой красы.*

*Столы с газетами пестреют,
Красотки глянцево глядят,
От холода привычно млеют,
И отдаются всем подряд.*

*На Красной Площади смятенье,
Здесь мавзолей и маята,
С утра обычное волненье,
И деловая суета.*

*А в небе, над Москва – рекою,
Взирая сверху на людей,
Касается земли рукою
Какой-то древний чародей...*

.....
М
И
С
Т
И
К

А

Глава седьмая

В то время, как Диогенов возвращался домой на метро, супруга его, Элеонора Максимовна, готовилась к важному докладу у себя в институте. *Институт, где работала Элеонора Максимовна, как мы уже говорили, имел некоторое отношение к русской литературе. Он имел к ней отношение потому, что там защищали диссертации о творчестве и жизненном пути различных русских писателей.* Главным образом выдающихся русских писателей. Одного из них, а именно Достоевского, Элеонора Максимовна выбрала для себя еще на заре своей туманно молодости, да так и прошла с томиком классика под мышкой всю свою жизнь. Если сказать, что Элеонора Максимовна была влюблена в Достоевского, то этим вообще ничего не удастся сказать. Элеонора Максимовна боготворила Достоевского, и временами, когда священное чувство это перехлестывало через край, даже жалела, что она не Настасья Филипповна, и в нее не влюблен несчастный идиот князь Мышкин. Достоевского она в такие моменты путала с князем Мышкиным, и необыкновенно жалела его, как вообще жалеет мужчину русская женщина, которая очень часто ставит жалость выше любви. Элеонора Максимовна вообще жалела о многом, и о том, что она живет в Москве, а не в Петербурге, городе Достоевского. И о том, что ее сын никогда не прочитал ни одного произведения великого классика, и из духа противоречия стал не гуманитарием, а презренным ученым. И о том, что у нее муж идиот, собирающий на улицах пуговицы, она тоже жалела, хоть и давно уже смирилась с этим. Когда же ей справедливо говорили, что князь Мышкин тоже был идиотом, и что есть очень много сходства между ним и Григорием Валерьяновичем, она сердилась, и начинала топтать ногами. Но, будучи отходчивой, как и всякая русская женщина, обстоятельства которой выше ее желаний, она быстро успокаивалась, и начинала жалеть Григория Валерьяновича. *Князя Мышкина, однако, она жалела гораздо больше.* Нечего и говорить, что роман «Идиот» она считала главным в творчестве Достоевского, и даже главным во всей русской литературе. Иногда, в пылу дискуссий и споров, она даже настаивала, что этот роман главный вообще во всей мировой литературе, но здесь, разумеется, был явный перебор, хотя доля истины в подобном утверждении тоже была. Одним из основных тезисов в сегодняшнем докладе, который Элеонора Максимовна должна была делать в своем институте, был как раз тот, что в мировой литературе вообще нет писателя выше, чем Федор Михайлович Достоевский. Она заранее предвидела взрыв эмоций и возражений, которые последуют вслед за этим докладом, и готовилась дерзко и одновременно тонко на них отвечать. В институте, где она служила, вообще работали очень дерзкие и очень тонкие люди. Впрочем, это были почти единственные их достоинства, поскольку сами они ничего не писали, и ничего, кроме дерзости и тонкости у них за душой не было. Ну, или почти ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.